



Монахиня Амвросия
(Оберучева)

История
одной
старушки

Оберучева Монахиня
История одной старушки

«Сибирская Благовонница»

1906

УДК 242
ББК 86.375-5

Монахиня О. А.

История одной старушки / О. А. Монахиня — «Сибирская
Благовонница», 1906

ISBN 978-5-00127-456-8

В настоящем издании без сокращения публикуются автобиографические записи монахини Амвросии (в миру Александры Дмитриевны Оберучевой). Пережив Первую мировую войну, революцию, войну гражданскую, арест и ссылки, матушка Амвросия сохранила и приумножила крепкую веру, любовь к Богу и людям, мужество и верность своим идеалам. Будучи достойной ученицей последних Оптинских старцев, она воплотила в жизни их заветы и наставления, являя собой светлый пример для своих современников и христиан последующих поколений. В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 242
ББК 86.375-5

ISBN 978-5-00127-456-8

© Монахиня О. А., 1906
© Сибирская Благовонница, 1906

Содержание

Предисловие	6
Начало жизненного пути (1870–1902)	9
Жизнь на Кавказе	9
Переезд в Смоленскую губернию и жизнь в деревне	11
Разлука с близкими. Поступление и обучение в гимназии, а затем в институте	13
Окончание обучения и возвращение к родителям	14
Отъезд всей семьей в Херсон к брату на жительство	17
Обучение в Петербургском медицинском институте	19
Революционные настроения и забастовка в Медицинском институте	25
Поездка к родителям. Исцеление мамы от чудотворного образа Божией Матери Касперовской	31
Первая поездка в Козельск и Оптину пустынь	34
Государственные экзамены. Окончание Медицинского института	37
Призвание врача (1902–1910)	39
Работа земским врачом в уезде города Ельни	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40



Монахиня Амвросия (Оберучева)

История одной старушки

© Издательство Сибирская Благовонница, оформление, 2024



Предисловие



Перед вами книга, составленная на основе записок из жизни «одной старушки», русской монахини – Александры Дмитриевны Оберучевой (в монашестве Амвросии), на долю которой пришлось пережить одну из самых тяжелых эпох в истории России.

Она родилась в 1870 году, а скончалась в 1944-м. Между этими датами уместились несколько революций, войн, большевистский террор, разруха и голод. Но книга не об этом. Внешние события лишь помогают раскрыться душевным качествам героини. Просто и даже как-то обыденно повествует она о своей жизни, а нас с самого начала не покидает чувство, что это не простой человек, а истинная подвижница.

Всю свою жизнь она скромно и тихо исполняла великую заповедь о любви к Богу и ближним. С юности она не позволяла себе ни одной минуты праздности, душа ее находилась в непрестанной работе, а сердце и всю себя отдавала она людям, забывая о собственном покое и нуждах.

Где бы она ни жила, ее дом всегда служил прибежищем для тех, кто находился в болезни или скорбных обстоятельствах. Но главным ее делом помощи ближним, наряду с монашеским молитвенным подвигом, стало врачевание больных, что наиболее отвечало ее душевной потребности.

В 1897 году Александра Дмитриевна поступила в только что открывшийся в Петербурге Женский медицинский институт. Обучаясь там, она столкнулась с революционными настроениями, которыми была охвачена студенческая молодежь. Как человек глубоко верующий и с крепкими убеждениями, Александра Оберучева не могла принимать участия в студенческих забастовках и митингах, а продолжала исправно посещать занятия в институте, хотя это могло грозить ей смертью. Удивительно, но этим она заслужила уважение среди студентов, которые тщетно пытались обратить ее в «свою революционную веру».

Уже тогда Александра Дмитриевна встала на путь несогласия с «духом времени», бунтующим, корыстным, себялюбивым, которым управлял «князь мира сего».

В годы всеобщего атеизма она едет в Оптину пустынь и находит духовное окормление у последних старцев прославленного монастыря – отца Анатолия (Потапова), а после его кончины у отца Никона (Беляева), чьи наставления она подробно приводит в своих записках.

Уже работая земским врачом, Александра Дмитриевна одно время проводила при церкви религиозно-патриотические чтения для народа, за что ее даже намеревались убить.

Перед революцией русское общество в своей массе настолько оторвалось от христианских ценностей, что нежная забота и любовь между дочерью и матерью Оберучевыми, частые посещения священником больной матери-старушки дали повод к тому, что в них увидели «сектанток». Но все оскорбления и тяготы сносились ими терпеливо и с благодарностью Богу.

Внутренним побуждением будущей монахини было всегда находиться там, где нужда и боль. В 1914 году началась война – и Александра Оберучева с санитарной сумкой едет к месту первого боя. И если некоторые из медперсонала для своего удобства перевязывали только тех раненых, которые сами могли прийти, Оберучева сама шла в бараки к умирающим и оказывала помощь тем, кого еще можно было спасти.

Воспринимая жизнь как отказ от самой себя, она совершенно естественно приходит к выбору монашеского пути. В 1919 году, когда повсеместно начали закрываться монастыри, она принимает монашеский постриг от старца Анатолия с именем Амвросии и входит в число сестер Шамординской обители. После разгона монашествующих матушка с несколькими сестрами поселяется в Козельске, но судьба ее, как и всех открыто исповедующих Христа, была предрешена.

В 1929 году во время допроса в тюрьме сочувствующий следователь сказал: «Вины у вас никакой нет. Если бы вам немного поменять внешность...», – намекая на то, что, откажись она от монашеской одежды, это облегчило бы ее положение. Но монахиня Амвросия на это ответила: «Я уже на краю гроба, могу ли я менять свои убеждения?» Выбор был сделан – последовала ссылка в Архангельскую область. Но и там не оставила она своего главного жизненного послушания, оказывая всестороннюю помощь ссыльным.

Многие запомнили ее согбенную фигурку в Великом Устюге, где она собирала по городу необходимые для ссыльных вещи, продукты, гостинцы. При этом лицо ее всегда было озарено светом и любовью к людям.

В 1933 году по состоянию здоровья и по возрасту монахиня Амвросия получила освобождение и через некоторое время поселилась в Сергиевом Посаде, но скитания ее продолжались – она и здесь не имела постоянного пристанища, жила в скудости, и условия жизни оставались тяжелыми. Так до конца дней вел ее Господь путем скорбей.

Но и тогда, на склоне последних лет, которые пришлось на время Великой Отечественной войны, монахиня Амвросия не переставала отдавать себя людям. Многие в городе ее знали и обращались за советом и врачебной помощью.

Упокоилась матушка Амвросия на руках близких ей людей 8 сентября 1944 года и была погребена на Климентовском (или Клементьевском) кладбище в Сергиевом Посаде. Тихо перетекла в вечность эта полная страданий и трудов жизнь, которой на самом деле хватило бы на несколько разных жизней.

Героиня этой книги оставила нам пример такого высокого христианского служения, который назидает без всяких слов и умных теорий. В стихотворении ссыльного епископа Иннокентия, которое так «пришлось по духу» матушке Амвросии, есть и ответ, откуда черпала силы эти истинная христианка, чтобы достойно пронести свой жизненный крест.

Покорно предайся Божественной воле
Воззавшего к жизни всех смертных Творца,
К Нему обращай ты в тягостной доле,
И в Нем ты увидишь благого Отца.
С любовью предвидит Премудрая воля,
В чем благо для сердца, что вред принесет,
И каждому послана Господом доля,
Но верных Своих Он к блаженству ведет.
Надейся! Он видит души сокрушенной
Всю скорбь и страданья в жестокой борьбе;
Но верь – и увидишь тогда несомненно,
Что все Он устроит ко благу тебе.
Как радостно Богом Христом быть спасенной!
Ты примешь от Бога победный венец.
И увидишь с хваленьем души искупленной
В мир вечный, готовый для верных сердец.



Начало жизненного пути (1870–1902)



Жизнь на Кавказе

Родилась я в 1870 году, 4 апреля. Мать вышла замуж очень молодой, ей не было даже и 15 лет; отец мой был гораздо старше ее, лет на пятнадцать. Он был военным, служил на Кавказе в то беспокойное время, когда был только что взят в плен Шамиль, и надо было умиротворять горцев. Со своей ротой отцу часто приходилось переходить с места на место, а по приходе устраивать образцовое хозяйство: огород, пчельник и т. д., чтобы приучить беспокойных и наклонных к разбойничьей жизни горцев к мирной жизни и сельскому хозяйству. При этом надо было все время зорко смотреть и быть на страже, так как нападения на маловооруженные и неосторожные отряды случались часто.

Незадолго до своей женитьбы моему отцу пришлось быть в Новороссийске. Он занимал одну комнату, денщик ночевал в другой. Помнится отцу, что это было наяву: входит пожилая дама, ведет за руку девочку-подростка в коричневом платье и говорит ему: «Вот твоя будущая жена». Вставши, он спросил денщика: «Кто это вышел?» Но денщик ответил: «Еще очень рано, и дверь заперта». Прошло немного времени, и отец познакомился с семьей, состоящей из мужа, жены и матери жены, у которой была еще младшая дочь – моя мать. Вскоре, несмотря на ее возраст, совершилась свадьба (на Кавказе несовершеннолетним давалось разрешение выходить замуж).

Семья была дружная, и потому при всякой возможности жили вместе, хотя мужу старшей сестры по службе и приходилось иногда жить отдельно от семьи. Все принимали участие в опасной походной жизни. Бабушка моя, энергичная, смелая, садилась на горную лошадь, тетя тоже, и вместе с ротой они переправлялись через горные хребты, ущелья и горные реки. Мама же моя боялась, и для нее было устроено кресло на длинных шестах, которые несли попеременно несколько человек. Иногда (рассказывали они) шли по узенькой тропинке по отвесной скале, ноги висели над ущельем, надо было закрывать глаза, чтобы не смотреть в эту бездну. И когда я родилась, ей тоже приходилось совершать такие переходы, держа меня на руках. Переходили и горные реки: большое число людей, держась друг за друга, оберегало нас, чтобы мы не упали, так как течение было очень быстрое, даже камни ворочались. Родилась я в городе Сочи, несколько лет у родителей не было детей, кажется, лет пять. Мамочка моя была очень серьезная, молчаливая, она мало говорила о себе. Не помню почему, но я знала: она скорбела о том, что не было детей. Всегда, до самого конца ее жизни, к нам в дом 23 января (в день святого Геннадия Костромского) приходил священник, и было молебствие. А когда мы уже подросли, мамочка всегда говорила нам, что, как только будет возможность, мы всей семьей поедem в Киев помолиться святым угодникам Божиим, так как она дала обет. Что и исполнила,

когда мне было уже четырнадцать лет: мы ездили туда все. Хотя мамочка моя ничего не объясняла, но чувствовалось, что молебствие святому Геннадию и поездка в Киев связаны с нашим рождением.

Через полтора года после моего рождения, около Кутаиси, родился мой брат Михаил. Местность там лихорадочная, и мамочка моя все болела.

О раннем своем детстве знаю по рассказам, что я была здоровым ребенком. Я совершенно не плакала и, если что мне было надо, только слегка издавала звук. Но как же мне было плакать, когда все мои нужды предупреждались мамочкой, она не сводила с меня глаз. Но вот это мое молчание ее отчасти, вероятно, даже беспокоило, потому что она спросила у доктора, что же это значит, что ребенок не плачет. А доктор засмеялся и сказал: «Да вы ее за нос!»

Брали нас на руки, но только свои: так моя мамочка боялась за нас. Была и няня, но она только убирала комнаты; все знали, что посторонним брать ребенка нельзя. Ни на одну минуту мать не оставляла нас, так это было и потом. Всегда такая тихая, спокойная.

Из воспоминаний детства у меня мало что осталось. Помнится мне, как мать моя лежит больная, и ей в постель приносят чай, а у меня так больно, больно на душе до слез... Но вот около окна несколько раз пропел петух, и мне стало на душе легче.

Потом помнится еще, приходили венгерцы, разносчики товара; тетя купила черное колечко с изображением по кругу – бегство в Египет Святого Семейства. Я скоро потеряла это колечко в постели, и мне стало так скорбно и стыдно; помню, лежу в постели, плачу, а отблески света от огня доходят до моих глаз... И когда впоследствии я сказала матери, как я горевала, она пожалела: «Ах, зачем ты мне не сказала, я нашла бы и утешила тебя». Вообще, она хотела, чтобы ничто не причиняло нам огорчения: «Впоследствии в жизни придется пережить много горя, а теперь мне хочется, чтобы дети ничем не огорчались, чтобы у них было весело на душе».

Она говорила тихо и мало, но каждое ее слово было для нас непреложным законом. И отец говорил нам: «Мы все мамочку должны слушать».

Иногда он пошутит или лишнее что-нибудь скажет; например, думает сказать о ком-нибудь, а мамочка посмотрит или только скажет: «Детям нельзя...», и он остановится.

Переезд в Смоленскую губернию и жизнь в деревне

Лет пять мне было, когда мы уехали с Кавказа. За всю свою службу на Кавказе отец мой до женитьбы только один раз ездил на родину к своей матери в Смоленскую губернию. И что это было за тяжелое путешествие: железных дорог не было тогда, и он ехал целый месяц на перекладных. Но это было великое утешение для его матери и для него. В последний раз он с ней повидался. Он очень любил свою мать, всех родных и родину и, несмотря на красоту кавказской природы, рано взял отставку: ему хотелось и семью свою скорее перевезти в любимые места.

Вышел он в отставку, и мы спешно собрались, оставив наш хорошенький домик в живописной местности (около 1875 года). Тетя с семьей осталась, а мы с бабушкой выехали в Одессу, сев на пароход в Новороссийске. Помню, мне купили в Одессе книжечку на коленкоре – картинки со стихами, очень она мне нравилась, и мы берегли ее до взрослых лет.

В Смоленской губернии мы поселились в городе Ельне, купили там большой дом с большим садом и липовыми аллеями.

У нас не было никаких шалостей. Жизнь наша была уединенной. Хотя и много к нам приезжало родственников, но при большом помещении наша детская жизнь не нарушалась. Хозяйственные дела были в руках кухарки и ее семьи, так что мамочка моя нас не оставляла. Папочка и бабушка были с гостями.

Помню, мы были у родственников, приехал к нам живший по соседству князь М. Он взял гитару и запел какой-то романс, но моя мать, несмотря на почтение, которым окружали гостя, не выдержала и тихонько попросила его не петь, чтобы до слуха детей не дошло чего-нибудь недолжного. Нам не рассказывали ничего страшного.

Когда я читала житие царевича Иоасафа, то говорила: «Вот так было у нас». А перед сном мамочка нам рассказывала всегда что-нибудь такое светлое. Она любила розы, и после, когда я слышала запах роз, всегда это мне напоминало о ней. В ней было какое-то особое целомудрие, которое проявлялось в ее словах и во всем ее поведении. Все ее стеснялись, остерегались при ней говорить что-либо лишнее или кого осудить.

Года два или три мы прожили там. Папочке хотелось жить в деревне. Он купил небольшой участок земли в прекрасной местности. Чтобы расплатиться и сделать постройку, пришлось приложить много труда и забот. Денег у нас не хватало, чтобы расплатиться, пришлось отдать пенсию за весь год, а самим жить кое-как. У нас на первое время была своя корова и лошадь. Наняли рабочего с семьей. Сами мои родители вели трудовую жизнь: вставали чуть свет, чтобы начать работу, а позднее и мы, дети, принимали участие в полевых работах, например носили снопы на ниве; работа наша, конечно, была незначительная, что-нибудь легкое. Родственники удивлялись, как только мы живем, материально справляемся.

Временами у нас не хватало даже сахара: помню, мамочка давала нам по несколько изюминок и мы так пили чай. Но это было как-то незаметно. Мамочка всегда была довольна и нам это внушала; мы были довольны, жизнь для нас была радостная. С семи лет меня начали учить грамоте. Помню мою первую азбучку, как она мне нравилась.

Помню, как мамочка после обеда, после всех дел посадила меня за нее – какое светлое, хорошее впечатление осталось у меня!.. Помню, как мамочка говорила, что она даже не может представить, как это дети могут капризничать или не слушаться, у нас этого никогда не было, слушались все беспрекословно. Как-то раз, когда шла постройка во вновь купленном имении, папочка был очень занят, был самый разгар работы, и ему нельзя было отлучаться от плотников; а там не хватало гвоздей, надо было их взять в лавке, в городе, но пока в долг, – вот папочка и прислал к мамочке сказать об этом, а мы с ней в это время находились у тети по соседству. Мамочка собралась ехать в город за пятнадцать верст, взяла меньшего брата, а мне сказала:

«Ты, Сашенька, посиди здесь, пока я съезжу», а я в это время сидела в кресле. Я буквально поняла эти слова, и, пока мамочка ездил туда и обратно, я не сошла с этого кресла; дети подходили ко мне, приглашали с ними играть, а я держалась за ручки кресла и не уходила до приезда мамочки. До этого случая тетя часто уговаривала ее оставить нас погостить, но теперь по приезде мамочки сказала ей: «Теперь я вижу, что ваши дети не могут оставаться без вас».

Недалеко от нашего деревенского дома нам, детям, отгородили высоким плетнем садик, где мы сажали деревья и всякие растения, какие нам нравились: было несколько грядок и клумб. Так для нас сделали потому, что мы боялись индюков, гусей и собак, а там мы были в безопасности. А в лес за грибами и ягодами мы ходили с бабушкой, что доставляло нам большую радость. Зимой нас сначала катали на санках, а потом мы сами катались с небольшой горы около дома, но я не могла долго оставаться во дворе, не видя своей любимой мамочки. Все, бывало, прибегу посмотреть на нее. Когда мы научились писать, то нашим любимым занятием было списывание в тетрадь молитв. Когда мы еще жили в городе, то купили мебель из имения композитора Глинки (село Новоспасское). В ящиках стола было много тетрадок, исписанных изящным почерком, большей частью это были молитвы; вот этими тетрадями мы воспользовались и списывали из них. Это было наше любимое занятие. До сих пор мы не слышали ничего печального, страшного, так мамочка оберегала нас, но в это время умер дядя (брат отца), и родители поехали на похороны, верст за семьдесят. Случилось так, что на это время осталась у нас погостить старушка знакомая, она говорила с бабушкой нашей, рассказывала о чем-то сверхъестественном; в это же время с почты пришли книги («Гамлет» Шекспира с рисунками), все это на нас так подействовало, что с тех пор мы стали бояться темноты; мама или бабушка сидели около нас, пока не заснем. Но по поступлении в учебное заведение страх этот исчез.

Разлука с близкими. Поступление и обучение в гимназии, а затем в институте

Уже настало время хлопотать о нашем определении в учебные заведения. Брата приняли в Полоцкий корпус (так просили), а меня пока баллотировали в Московском Александровском институте. Брата повезли, а относительно меня был семейный совет. Помню, вечером сидели и говорили, что уже по годам, как бы не опоздать. И как мне ни было больно уезжать, но я сама сказала, что пора мне ехать учиться, и решили пока определить меня в Смоленскую гимназию, чтобы не пропустить времени. Узнали, что в Смоленске открылся пансион для гимназисток в доме Суворовой, где можно жить за дешевую плату.

Сколько слез я проливала там по ночам, вся подушка была мокрая от слез! Меня отдали на второе полугодие, но не долго мне пришлось здесь учиться: вскоре по приезде в Смоленск я заболела скарлатиной. Родным я не писала о своей болезни, боясь их побеспокоить. Как им было ко мне приехать, когда шестьдесят верст надо было ехать до станции, а я знала, что мамочка моя слаба. А каково было бы ей остаться, а папочке самому ехать ко мне?! И вот я осталась едва живой после такой тяжелой болезни, думала, что не выживу, но домой написала, только когда начались каникулы, и тогда меня взяли домой.

Летом пришло извещение, что я принята в Московский Александровский институт в шестой класс (т. е. во второй), и я стала усиленно готовиться по немецкому и французскому языкам, для чего к нам приходила гувернантка из соседнего имения. Старалась сколько было сил, так что гувернантка все хвалила.

* * *

В августе папа отвез нас – брата в Полоцк, а меня в Москву. Сначала мне трудно было, по языкам я отставала (была двадцать третьей ученицей при тридцати четырех в классе), весной заболела (корью), и думалось мне: буду последней ученицей или придется даже остаться на второй год. К тому же у меня заболели глаза; здесь экзамены, а мне, вследствие болезни глаз, нельзя читать самой; я только слушала, как другие учатся вслух, и все силы употребляла, чтобы запомнить. И вот что же?

Экзамены прошли неожиданно очень хорошо, я сделалась третьей ученицей, а потом второй, и так до конца курса, а при окончании получила серебряную медаль. Мне потом легко было учиться, занималась со всем классом, вела записи и все справлялась по ним. Но постоянно я была серьезной, скучала по родным. Ничего никому не говорила, но ночью подушка моя редко бывала сухая от слез. Мне всегда страшно становилось при мысли, что моя слабая здоровьем мамочка умрет без меня. До конца четвертого класса никто не видел меня улыбающейся. Но вот, по мню, во время экзаменов из четвертого в следующий класс, занимаясь со своими, классная дама увидела меня улыбающейся и закричала: «Смотрите, смотрите, Саша Оберучева засмеялась».

Окончание обучения и возвращение к родителям

Когда был наш выпуск, начальница хотела оставить меня пепиньеркой (они занимались с не успевающими, помогая классным дамам), но я упросила не оставлять, так как у меня слабая мамочка, о которой я очень беспокоюсь. Наконец я поехала домой. Нет слов, чтобы передать ту радость, которую мы все испытывали!.. Ехали по железной дороге, а затем со станции, где нас ожидали свои лошади, мы с папой в спокойном экипаже ехали еще шестьдесят верст, что занимало целый день.

Дорогой приходилось кормить лошадей: останавливались на полпути на постоялом дворе, а затем уже ехали с небольшими остановками в лесу, где-нибудь в живописном местечке. Садилось солнце, вскоре мы подъехали к дому. Радости нашей не было предела. На свою любимую мамочку я смотрела как на воскресшую, так как весь год у меня душа болела невыразимо. Ни на минуту я не хотела отходить от нее. Летом приезжали соседи, устраивали вечера и приглашали меня. Помню, приехала как-то верст за тридцать жена профессора Т. с одним молодым человеком, соседом, просили показать имение и все обращались ко мне, чтобы я их проводила.

Уезжая, она уговаривала меня поехать с ними: у нее две молоденькие дочери, одна из них, Ольга, именинница, и они будут устраивать бал, хотя, чтобы и я была.

Мы с мамочкой отговаривались, что у меня нет бальных костюмов, но это не помогало, так как Т. уверяла, что у них много бальных костюмов, хватит и для меня. В конце концов пришлось наотрез отказать, сознавшись, что я не могу расстаться с мамочкой. Бабушка моя слабела, несколько раз она падала, с ней было несколько ударов. Оставлять ее одну было нельзя, и я твердо решила посвятить себя уходу за бабушкой, чтобы помочь моей слабой мамочке.

Наступила осень, потом зимние каникулы, когда съезжалась молодежь в соседний городок Ельню и в соседние имения. Устраивались вечера, но теперь я уже твердо отказывалась: я не могла оставить больную бабушку; приходилось сидеть около ее постели и по ночам, когда она бредила. Обыкновенно я сидела около стола, читала, и время от времени подходила к ней.

В течение этой зимы приезжали знакомые; зная, что я люблю книги, щедро награждали меня ими. Еще в институте батюшка Н. Липеровский спросил меня, читаю ли я романы. Я ответила, что иногда читаю в журналах. Батюшка сказал, что не надо, бесполезно, и с тех пор я перестала. Читала я больше по истории литературы, по естественным наукам. Из романов прочла Всеволода Соловьева «Волхвы» и «Великий розенкрейцер» – понравились.

Но сама я мало отлучалась из бабушкиной комнаты. На второй день праздника Рождества Христова она скончалась...

Знакомые наши были люди светские: один из них окончил Петровскую академию в Москве, а другой служил в типографии «Русского обозрения». Настоящих духовных книг у меня не было.

Помню, в «Ниве» я прочла статью, которая меня очень тронула: о Кэт Марсден, англичанке, которая ездила в Сибирь, посещала прокаженных в Вилюйском крае, она посвятила всю свою жизнь этим несчастным. И вот я много носилась с этой мыслью. Меня тронула ее жизнь. Конечно, свои мысли и переживания по этому поводу я высказывала моему брату, с которым у нас была неразрывная дружба. По отъезде в Москву (он был еще в военном Александровском училище) он прислал мне книжечку, которая сохранилась у меня и теперь: «Жизнь миссионера отца Дамиана Вестер» (издание 1892 года, с посвящением принцу Александру Петровичу Ольденбургскому, основателю Института экспериментальной медицины).

До глубины души тронула меня жизнь этого юноши – самоотверженного монаха. Поразило меня и его отношение к тому, как он, заразившись ужасной неизлечимой болезнью (проказой), чувствовал себя еще ближе к Богу и считал себя счастливейшим из миссионеров. Эти

мысли не покидали меня, и мне все больше и больше хотелось послужить больным. Записывала домашние средства, которые могли быть им на пользу. Живя в деревне, я часто сталкивалась с нуждой в них у больных. Зимой занималась с детьми, которым далеко было ходить в школу. Знакомый помещик (верст за двадцать от нас) уговаривал родителей отпустить меня к ним, заниматься с его детьми, обещал еженедельно привозить меня. Но они не могли расстаться со мной, и мы оставались жить вместе.

С раннего детства при всяких неприятных обстоятельствах мамочка наша внушала нам считать во всем виноватыми самих себя. Сама бы я не могла этого запомнить и понять тогда, как это укоренилось в душе, но впоследствии папа, бывало, говорил шутя: «Вот что случилось, и теперь наша Сашенька, наверно, себя будет в этом винить».

Много лет у нашей мамочки в животе была опухоль, большинство врачей советовали операцию, но родные опасались и отговаривали. Мамочка заболела воспалением легких, я самоотверженно за ней ухаживала. Пригласили врача, и он меня начал уговаривать, чтобы по выздоровлении мамочки сделать операцию в Москве у такого хорошего профессора, как Снегирев, его учителя; дал записки к своим товарищам.

Когда мамочка совсем поправилась, то сказала, что вполне полагается на мое желание: «Так как для Сашеньки моя жизнь дороже, чем для меня самой, пусть будет по ее желанию». И мы поехали в Москву.

Мамочку взяли в клинику к профессору Снегиреву, а мы с папочкой поселились в меблированных комнатах на Арбате, поближе к Девичьему полю, где клиники. Ходила я туда каждый день или одна, или с папочкой, а по праздникам приходил из училища брат, и мы с ним навещали мамочку. В приемной комнате был большой образ Божией Матери, против которого стоял подсвечник с множеством горящих свечей, которые ставились приходящими посетителями. Здесь, рядом с клиниками, была небольшая новенькая церковь, построенная, как говорили, профессором Снегиревым.

Ожидание перед операцией было для меня пыткой: я так страдала, что и передать не могу. Мне легче было, когда я шла, поэтому я редко ездила на конке, а больше ходила пешком. Отец и брат видели мое страдание, но слова только увеличивали скорбь... Иногда я видела, что брат издали идет за мной. Наконец 24 сентября мамочка сказала, чтобы завтра я не приходила, и я догадалась, что назначена операция. Утром чуть свет вышла из дому, стояла против окон клиники, а потом пошла дальше по Девичьему полю в Новодевичий монастырь. Там было торжество – ковчег с частицами святых мощей обносили вокруг церкви.

И мне как-то легче стало дышать. На обратном пути я остановилась перед ее окнами и долго-долго стояла в аллейке, а потом решила зайти спросить доктора Боброва, ассистента. Он сказал, что операция прошла благополучно, но была она трудная, и теперь я должна молиться. А вечером мы пошли с папочкой в ближайший храм Смоленской иконы Божией Матери. Помню, как я плакала всю всенощную. Затем я ходила к мамочке и, боясь беспокоить, почти ни о чем не спрашивала и была недолго. Терпение у нее было великое, она всех нас утешала, никогда ни на что не жаловалась, всегда говорила, что ей очень хорошо.

Когда мамочка уже вставала и начала поправляться, мы с братом ободрились и даже решили пойти на симфонический концерт. Помню, как мы шли оттуда: погода была приятная, мы шли потихоньку и наслаждались хорошим вечером. Мы вообще, когда ходили с братом, мало говорили, он был всегда очень серьезен и молчалив. А здесь он вдруг спросил: «Саша, ты не принимаешь участия в здешней жизни, ты готовишься к чему-нибудь?» А я, как-то не думая, ответила сразу: «Да, готовлюсь». И мы замолчали и так, молча, шли до дома. У меня тогда как будто и не было ничего определенного. После этот разговор у нас больше не возобновлялся.

По возвращении домой в имение мамочка долго не могла поправиться. Ни на минуту я не оставляла ее. Помню, летом мы с братом читали Достоевского «Братья Карамазовы». На

нас эта книга произвела сильное впечатление. Мы говорили друг другу, как бы хотелось найти этот монастырь, где живут такие старцы, как Зосима, и послушники, как Алеша.

Брат уехал в училище, где им должны были дать назначение... Книга прочтена, я никак не могу с ней расстаться, чувствую, что со мной произошел какой-то перелом. Мама моя это чувствовала и как-то вопросительно на меня смотрела, но ни о чем не спрашивала. Надо сказать, что у меня в то время было особенно строгое отношение к поступкам других людей. В большинстве случаев я видела все в идеальном свете. Помню, как на выпускном балу, еще в институте, наш учитель, приват-доцент естественного факультета, занимающийся хиромантией, разговаривая с несколькими из воспитанников, взял мою руку и, смотря на ладонь, сказал: «Как вы смотрите на все окружающее, удивительно, – вы все видите в розовом свете, это видно по линиям вашей руки». А посмотрев у другой, он сказал: «А у вас наоборот, все в мрачном свете, как это поразительно в таком возрасте!»

Но зато всякий факт, расходящийся с моим идеалом, меня глубоко потрясал, даже вызывал брезгливость. Около этого времени моя тетя (сестра отца), давно овдовевшая и имевшая почти взрослых двоих детей, решила выйти замуж за пожилого вдовца. Мне это казалось предосудительным и даже оскорбительным для памяти ее покойного мужа и детей. Мне трудно было побороть себя и заставить с прежним уважением и любовью относиться к тете. Было тяжело, я упрекала себя за осуждение, но ничего не могла с собой поделать. Осуждала я, конечно, только в душе, никому не выражая своих чувств, но это было еще тяжелее.

И как раз в это время нам пришлось прочесть Достоевского, где он говорит, что не надо брезгливо относиться ни к какому человеку; вообще, этот роман глубоко потряс мою душу. Я почувствовала себя как бы после глубокого сна: долго, долго не могла опомниться. Долго я не возвращала этой книги, может быть боясь потерять то, что она мне дала. Только спустя много времени я почувствовала в душе облегчение и перемену, осознала, что не имею права осуждать другого. Это мне принесло великое успокоение.

Когда по окончании училища брат, выбрав место на юге, в Херсоне, отправился туда, то в первом же письме написал: «Был в том монастыре (Оптина пустынь), о котором мы с тобой мечтали. Впечатление такое хорошее, ты непременно должна побывать там». С места службы брат писал и уговаривал приехать к нему. И вот, справившись с делами по имению (отдали в аренду), в начале октября мы переехали в Херсон.

При пошатнувшемся здоровье папочке страшны были такие сборы в дальний путь. Но я уговаривала его, что все беру на себя: главное, чтобы он был спокоен, а мне приятно все самой делать.

Отъезд всей семьей в Херсон к брату на жительство

Господь дал, что все было хорошо уложено, и мы двинулись в путь.

На вокзале мы неожиданно увидели всех домохозяев нашей деревни, которые приехали нас проводить. Я спросила в буфете, нельзя ли откупить на несколько часов дамскую комнату, чтобы там пообедать и попить чаю со всеми провожающими, и нам разрешили. Приятно было, что люди приехали нас проводить за пятнадцать верст. Среди провожающих были и наши родственники. Двою родная сестра смутилась общим столом и тихо сказала моей мамочке: «Вижу, что это Саша придумала». Но смущение у нее скоро прошло.

Погода в этом году была холодная. В Орле на вокзале пришлось надеть шубу.

Но вот мы в Херсоне – здесь сейчас самое лучшее время года. Сразу же пришлось одеться по-летнему. Подъезжая к гостинице, мы видели всюду – на балконах, открытых галереях – яркие цветущие олеандры. Везде продаются букеты цветов, на базаре – масса всяких овощей. Квартиру пока сняли в центре города, но потом, осмотревшись, переехали в предместье, где стоял полк брата, чтобы ему было ближе ходить. Наняли отдельный дом, заново его отремонтировали, оклеили; пять комнат с двумя передними, кухней и террасой; всё – за пятнадцать рублей.

Денщик у брата был хороший человек, он с искренней любовью относился ко всем нам. Мы с братом начали с увлечением разводить цветы в комнате, а потом и в цветнике. Недалеко отсюда было садовое хозяйство, где можно было все купить и получить совет. С братом мы почти не расставались: как только он кончал службу, мы шли в город по делам – купить что надо или погулять. В шести верстах от нас, на пути в город, была старинная крепость, через нее надо было проходить, и в ней собор, куда мы и ходили. Настало Рождество, и, по старинному обычаю, все военные делали друг другу визиты. У нас все время был народ, так что денщик едва успевал открывать дверь.

Многие знакомые хотели, чтобы я вышла замуж, но у меня было твердое намерение поступить в университет и быть врачом. Брат меня поддерживал в этом и чтобы не выходить замуж. Так как в России еще не было медицинских курсов, то у меня даже были мысли поехать за границу, но тогда для жизни у нас не хватило бы средств; и я поступила в земство на службу в статистическое отделение, одновременно стала заниматься латинским и греческим языками.

Так прошло полтора года. Весной 1894-го подала прошение, чтобы экстерном держать экзамены по этим языкам; сдала их очень хорошо, но поступить еще не было возможности. Когда я высказала свое желание ехать за границу, родители так огорчились, что даже отец заплакал, а о матери и не говорю, потому что она тщательно скрывала свои чувства. Что мне было делать?

И я решилась на такое отчаянное средство: ничего никому не говоря, даже брату, с которым у нас была неразрывная дружба, я написала прошение Государю Императору, в котором изложила свои обстоятельства: как мне хочется поступить учиться и что не могу оставить своих любящих родителей. Я усердно просила разрешения частным образом ходить в Московский университет на медицинский факультет. Прошло несколько месяцев, и вдруг неожиданно получаю из канцелярии Государя Императора ответ на мою просьбу. В полученной бумаге мне было предложено прислать все нужные бумаги в Женский медицинский институт, который открывается в Петербурге.

Не могу словами выразить ту радость, которая была у меня от этого известия. Все удивлялись, что я так тщательно все скрыла и что письмо могло дойти. Но родители мои, видно было, опечалились. Я им сказала: «Вот наши близкие знакомые, семья инженера, которые так уговаривают меня выйти замуж, как бы для того, чтобы я к вам ближе была, ведь они ошибаются. Они выдали свою дочь, и она уехала так далеко; кто знает, увидятся ли они; а я, сделавшись

врачом, буду с вами неразлучна». Это сразу успокоило их, и, я помню, мамочка моя вытерла слезы и никогда уже больше не возражала, даже с сочувствием относилась к моему желанию.

Обучение в Петербургском медицинском институте

Бумаги были отправлены, и скоро мне самой пришлось собираться в дорогу. Никогда я еще не ездила одна, особенно в такой далекий путь, но, несмотря на страх, я, конечно, решила ехать одна. Я так волновалась, что всю дорогу меня сопровождала непрерывная рвота. Господь помогал мне. На последней станции к Петербургу напротив меня сел ехавший с дачи господин: он оказался профессором. Он вынул свою визитную карточку и показал мне, чтобы я не боялась его, и предложил проводить до Медицинского института. Это меня очень успокоило.

Мы были ограничены в средствах и потому решили поместить меня в общежитие только на первое полугодие. Попечительницей этого общежития была баронесса фон Гильденбанд – известная красавица, ей было уже немало лет. Она приняла меня радушно и спросила, как это я могла поступить в первую очередь: «Не было ли у вас какой протекции, что вас приняли; ведь всего двести человек поступило, а подавших прошение было во много раз больше». Я ответила, что у меня никакого знакомства нет, и только потом упомянула о письме. Она ответила, что это превосходит все протекции.

На другой день все мы должны были явиться в институт на первую лекцию. Какое это было для меня счастье! У меня было такое чувство, как будто я входила в святой храм. Переживание было такое сильное, что по возвращении в общежитие все заметили, что у меня жар. Поставили термометр, оказалось 40 градусов. Слух о моей высокой температуре скоро донесся до начальства. Обеспокоились, выражали свою заботу, и директор сказал, что, если будет такая высокая температура, лучше не выходить. На другой день я встала совершенно здоровая и пошла на лекцию. По возможности я не пропускала ни одной лекции. Слушать лекции и заниматься для меня было наслаждением. Как только могла, покупала научные книги; ходила к букинистам и их отыскивала. После полугодия, за которое было оплачено общежитие, я перешла на частную квартиру, более дешевую. Я получала тридцать рублей в месяц на жизнь. Для меня этого было бы вполне довольно, но мне хотелось приобрести как можно больше научных книг и поэтому приходилось экономить. Вместо студенческого обеда, который стоил 7 руб. 50 коп. в месяц, я ходила в дешевую столовую фон Дервиз, где платила только пять копеек за обед. Вскоре по моем приезде нахлынуло студенчество с разных сторон. Херсонцы считали меня своей землячкой, потому что я оттуда приехала, смоленцы – потому что там жила, кавказцы тоже – ведь там моя родина.

В это время брат с родителями переехал в Одессу, так что одесситы тоже считали меня своей землячкой. Все они часто приглашали меня на свои собрания. Я не отказывалась. Тогда у меня был идеальный взгляд на молодежь и на все студенчество: мне казалось, что все они стремятся к добру. А заметив, что я верующая, одна из наших слушательниц пригласила меня с собой в Михайловскую академию, где при храме была церковная зала, и там собирались для духовных бесед. В то время эти беседы вел священник Петров. Там были студенты и курсистки из разных учебных заведений. Еженедельно по четвергам я там бывала. Приятно было. Принимали участие в беседе многие учащиеся. Туда приходили очень верующие люди.

Приглашали меня студенты и на такие свои интимные вечера, куда вход был по особому приглашению, только для избранных; я сразу почувствовала, что у меня совершенно другой взгляд на все, в их среде я почти всегда ощущала себя чужой. Когда оканчивалось собрание и было голосование, то я неизменно оказывалась в полном одиночестве, и мне приходилось объяснять, почему я не согласна с ними. Но каждый раз, несмотря на такое мое несогласие, они приходили ко мне и приглашали. Я же не отказывалась, мне казалось позорным скрывать свое мнение. Так что все вечера у меня были заняты. А о лекциях медицинских и говорить нечего, я не пропускала ни одной.

Можно сказать, что весь наш первый выпуск (за немногими исключениями – тех, кто был поглощен политикой, но не сразу себя выказал) был увлечен наукой. Профессора наши также. Все свое время они без остатка отдавали нам, не считались с тем, что уже кончился их час; иногда они оставались с нами до поздней ночи, особенно профессор Батуев. Он сам увлекался: чувствовалось, что он хочет все нам передать. Целые дни и вечера он не оставлял анатомического театра. Это увлечение не могло не передаться и нам. И вот, несмотря на то что это был самый трудный предмет, мы его хорошо усвоили и занимались с большой любовью.

Существует мнение, что естественники – материалисты. Но из того, что я видела и сама пережила, могу утверждать обратное. Помню чувства, которые я испытывала, когда мы рассматривали под микроскопом строение живой клетки и ткани организма. Передо мной открывался особый мир, я удивлялась этому чудному строению и невольно благоговела перед Создателем всего этого. А какая мудрость в законах механики, по которым построено наше тело! Разве самый великий зодчий между людьми не должен брать для себя здесь уроки? Разве может гордиться он своим личным изобретением, когда все это уже предусмотрено Творцом?

Помню, я была в анатомическом, изучала нервы на верхних конечностях, уже было поздно – десять часов, все стали уходить, но мне еще хотелось поработать, и я так увлеклась, что осталась одна. Громадный зал, масса столов с частями человеческого тела. Передо мной рука, которая меня так заняла, – какие здесь мудрые законы механики, какое изящество во всем построении, красота, и за всем этим я не вижу смерти, мне чувствуется во всем только жизнь и потому мне не страшно.

Но вот на мгновение я отвлеклась мыслью и подумала о своей матери: каково ей было бы увидеть меня в такой обстановке, и только тогда мне стало жутко. Я собралась уходить, но все огни, кроме моей лампочки, были потушены. Я должна была дойти до порога, осветить себе путь, вернуться погасить лампочку над столом, сойти по лестнице и осветить дальнейший путь, затем вернуться загасить верхнюю и т. д., пока я не дошла бы до подвального этажа, а я была в третьем или четвертом. Но все же при таком настроении мне это не было трудно.

Кроме медицинских наук, раз в неделю у нас была лекция по богословию. Я не пропустила и этой лекции, но на ней было совсем мало слушателей, так что лектору было обидно.

В церковь я редко ходила: мне очень хотелось, но все время было занято, даже по воскресеньям профессор диагностики сверх курса предложил нам читать о том, что не надо смешивать различные лекарства и еще много полезного по этому поводу, а в учебниках этого не было, здесь все было собрано опытным путем. Считали, что на нас, будущих врачей, лежит такая страшная ответственность, что мы не имеем права пропускать занятия. Многие говорили, что анатомия вызывает чувство брезгливости, но это тогда, когда пойдешь смотреть из любопытства, а если сначала изучить раздел теоретически, то видишь не смертные останки, а живой организм.

Однажды ассистент профессора хирургической анатомии даже заметил, что Оберучева делает операцию как бы на живом (я действительно с увлечением спешно перевязывала сосуды, как на живом, боясь опасности кровотечения). Но все же иногда, пока лекции еще не начнутся, я ходила, чаще пешком, в Александро-Невскую Лавру, а расстояние до нее было десять верст только по Невскому проспекту. Доеду, бывало, на трамвае до начала Невского, а там так ровно, незаметно и дойду, особенно зимой. На пути захожу в булочные, возьму за одну-две копейки булочку, посижу, погреюсь, и дальше, а там опять погреюсь. А от Невской Лавры иногда на трамвае на стеклянный завод к Царице Небесной, где был великолепный храм. После чуда в 1889 году – исцеления отрока Николая – этот образ прославился. Домá родителей отрока Николая стояли на Матвеевской улице, а я жила поблизости. Познакомилась с сестрой исцеленного – Екатериной, которая после смерти родителей и после чуда, по совету старца, все свои несколько домов обратила в приют Царицы Небесной для немощных детей-калек, а комната, где Царица Небесная явилась со святителем Николаем Чудотворцем 6 декабря 1889 года,

обращена теперь в алтарь и маленький храм, куда по субботам приезжает исцеленный отрок Николай, теперь уже иеромонах Сергиевой пустыни около Петербурга. Он служит всенощную и обедню, на которых Господь сподобил меня быть.

Прежде чем приступить к устройению приюта, Екатерина ездила в Швецию и Норвегию, где особенно заботятся о таких ненормальных детях, изучила этот вопрос, написала книгу (подарила и мне). Действительно, это такое благодеяние!

Что пришлось здесь видеть: сюда принимают и калек, и совершенных идиотов, их учат даже отличать правую руку от левой. Но главное – духовная сторона: по рисункам, которые развешены по стенам, им постепенно разъясняют Священное Писание. Сколько любви, веры и христианского терпения надо иметь посвятившим себя этому делу! Воистину это подвижницы! (Недавно я услышала, что отец Николай скончался.)

После летних каникул тем, которые жили не в интернате (в том числе и мне), надо было сразу оставить вещи на хранение на вокзале и искать квартиру. Мне хотелось поудобнее, и я нашла в Лесной у старичков. Искать квартиру было очень хлопотно. Если мне удавалось найти раньше других, то запоздавших я принимала переночевать хоть на полу, а книги подкладывала под голову.

Моя милая подруга по группе Мария Морозова говорила шутя: «У тебя как постоянный двор». Нам, одиноким, было не так трудно. Но вот помню слушательницу нашу Сонухову, у нее мать пожилая, много вещей. Очень они заботились о подходящей комнате, а пока пришлось жить в меблированных комнатах, и всё искали, всё просили узнавать, но как-то ничего не выходило.

Вспомнили они о рабе Божией Ксении, это на Смоленском кладбище. К ней многие обращаются, прося ходатайства об устройстве места жительства. Вот собрались они с матерью, приехали на Смоленское кладбище, там на могиле блаженной Ксении отслужили панихиду, помолились. Народу, кроме них, было порядочно. На обратном пути сели в трамвай и разговорились с соседкой: она сказала, что вот уже много времени прошло, а она никак не может подходящих жильцов найти, а они в свою очередь сказали, что комнату себе не могут подыскать. Из разговора выяснилось, что они подходящие для нее жильцы, а им как будто комната такая и нужна. Дело сладилось, они пригласили меня на новоселье и рассказали, как все вышло.

Но вообще-то о религиозных вопросах мало с кем приходилось говорить.

Помню, на Страстной неделе, в Великую Пятницу, я выбрала момент, чтобы пойти приложиться к Плащанице. Почему-то одна из слушательниц, Е. Гинер, знала, что я иду к Плащанице; когда я проходила мимо, она тихо сказала мне: «Какая счастливая». Вижу, что у нее слезы на глазах; но что же это значит, ведь и она могла бы пойти!

А дело в том, что у нас была группа слушательниц, которые занимались политическими вопросами (может быть, специально для этого и поступили), они постепенно привлекали к себе единомышленников и так ставили дело, что уйти от них было уже очень трудно. Слишком много надо было для этого мужества. Из таких уловленных и малодушных и была Е. Гинер. Стыдно было прослыть ретроградкой.

Расскажу один случай, который поразил меня. В Великую Субботу я решила причаститься. Но так как я почти не ходила в храм, меня это очень смущало. Стою в храме и думаю: может быть, и не надо. Вот уже самая главная часть литургии прошла (исповедовалась я накануне), запели причастный, а я не решаюсь приближаться, решила не идти. Вдруг рядом стоящая женщина говорит: «Вы идете причаститься, возьмите подведите мою девочку (лет пяти), а то мне нельзя». После этих слов я успокоилась, видя в этом волю Божию, и уже не сомневалась, а, взяв за руку девочку, подошла к Святой Чаше. И так радостно было у меня на душе.

Еще в самом начале, когда мы все только собрались в Медицинском институте, дух этой группы проявился в недовольстве тем, что всем слушательницам предложено было носить определенную форму – серое платье с белым батистовым воротничком. И чтобы легче было

выполнить это требование, заказали материю на фабрике с тем, чтобы нам продавали дешевле; также был сделан заказ и в мастерской, где бы нам шили совсем дешево.

Казалось бы, как хорошо! Кому трудно и на это потратиться, дали бы пособие. Но и здесь объявились недовольные. Раздались возгласы, что этим нарушается свобода человека. И вот многие не захотели шить себе форму. Начальство как бы не обратило на это внимания, так и прошел их протест незамеченным.

Время от времени назначались собрания, их вела и собирала эта же группа, которую образовали из себя депутатки (забыла их точное название). Они всегда были в курсе дела – когда какому политическому лицу надо послать приветственную телеграмму или еще что-то вроде этого. Но я не знала никого из тогдашних подпольных деятелей, а потому не запомнила, кому именно писали.

Помнится мне фамилия Плеханова, а больше никого не помню. Потом устраивали литературные вечера, приглашали на них Короленко, Михайловского, Кони, Горького и многих других.

Помню, приглашали родителей Стасовой. И почему-то приглашать всех этих лиц выбрали меня. Я должна была ходить по адресам и просить их присутствовать у нас на вечерах. В антрактах моя обязанность была угощать их и с ними разговаривать. Я удивлялась, но не противоречила и исполняла. Теперь, смотря издали, мне понятнее это. Видно, им хотелось чем-нибудь и меня привязать к их обществу. Ведь они много раз предлагали прийти ко мне, чтобы поговорить со мною о том, против чего я выступала на собраниях, и почти всегда оставалась в одиночестве. А студенты из какого-то землячества однажды просили моего разрешения еженедельно бывать у меня, чтобы читать политическую экономию. Я согласилась, боясь, чтобы это не показалось каким-то страхом с моей стороны. И вот каждую неделю два студента приходили ко мне в назначенный вечер и читали. И так это было, пока не кончили всю литографированную тетрадку. Заведующая дешевыми квартирами, где я жила, шутя сказала: «Монахиня, а молодые люди приходят».

Не знаю, почему она меня считала такой, я как будто ничем особенным не проявляла такого настроения. Но вот настал последний, заключительный вечер, когда студенты окончили чтение политэкономии и спросили меня: «Ну как вы теперь смотрите на все это?» Я задумалась, чтобы точнее выразить свое впечатление от всего прочитанного, и сказала: «Мне кажется, что все это детский лепет». Старалась высказать это таким тоном, который не мог бы их обидеть. Не помню, что они на это сказали. Но после этого больше не приходили; однако на собрания приглашали всегда. Сходки у нас устраивались все чаще и чаще. Стали произносить слово «забастовка».

Большинство из нас слышали его в первый раз и не понимали его значения. Обращались за разъяснением в наш председательский комитет, который все нам и разъяснил. Во время этих сходок, которые продолжались долго и были утомительны (голова даже кружилась от напряжения), я уходила в музей Александра III, и там становилось легче. Больше всего я сидела напротив картины: Малюта Скуратов хочет задушить молящегося святителя Филиппа. Смотря на спокойное, одухотворенное лицо, освещенное лампадой, успокаиваюсь и переносюсь в другой мир. Никаких старцев ведь я тогда не знала.

* * *

Однажды, это было в 1899 году, проходя по какому-то случаю по Васильевскому острову, я встретила двух знакомых студентов по землячеству, которые сказали мне, что они хотят взять для меня билет в оперу, а пока советуют пойти на первую лекцию только что приехавшего из-за границы философа Владимира Сергеевича Соловьева, которая начнется сейчас в Философ-

ском обществе. Не зная еще Соловьева и ничего не слышав о нем, я холодно, равнодушно приняла это предложение, но, так как мы были у входа в аудиторию этого общества, я согласилась.

И что же было со мной! Это было целым событием в моей жизни. На кафедру вышел необыкновенный человек, он сразу поразил меня до глубины души. Что-то пророческое было в нем. Каждое его слово било по сердцу.

Он начал с того, что каялся перед всеми за свою вину: он думал и старался убедить других в том, что надо стремиться к соединению церквей. «Но теперь я понял, что это возможно только при конце истории человеческой, а не раньше. В этом моя великая вина, в которой я раскаиваюсь». Всего, что он говорил, я не помню, но когда я вышла из аудитории, то почувствовала себя совсем по-другому. Я благодарила Бога, что Он привел меня послушать пророка. И когда студенты заговорили опять о театре, сказала, что не надо брать для меня билета, я не могу пойти (а сама думала в это время, что не буду совсем ходить в театр и буду стараться не пропускать лекций Соловьева).

Попрощавшись со своими спутниками, на которых лекция не произвела такого действия, я пошла одна и зашла в первый встреченный мною книжный магазин; в кармане у меня был один рубль, уже предназначенный для покупок, но я решила израсходовать его на книгу и спросила, что у них есть Владимира Соловьева. Нашла по подходящей цене небольшую его книжку, где разбирается молитва «Отче наш», купила ее и с радостью пошла домой. Теперь у меня уже был путеводитель, которого мне так не доставало.

Пришлось мне быть на сходках нескольких землячеств, на закрытых собраниях, и вот каждый раз я не могла с ними согласиться, всегда при голосовании я вставала одна, чтобы выразить свое несогласие. Наконец меня это стало смущать. Я думала: ведь собираются хорошие, умные люди, почему же я против них иду? Ведь и они хотят добра. Что же это значит? Да сама-то я нормальна ли? Ведь и душевнобольные не считают себя такими, а думают, что они здоровы. И эта мысль стала пугать меня, тем более что к окружающим людям, всем тем, с которыми я имела дело, я относилась с уважением и доверием.

И вот во время такого тяжелого душевного состояния у меня появилась мысль: пойти за решением к так поразившему меня Владимиру Сергеевичу Соловьеву, тем более что за это время я была несколько раз на его лекциях в Философском обществе и все более приобретала веру в него. Узнала там его адрес; боясь идти одна, я предложила подруге Марии пойти со мной.

Он жил на Сергиевской, мы поднялись по лестнице на самый верх: потолок здесь был уже не плоский, а со сводами. Вошли в комнату: и здесь потолок был со сводами, сбоку выступала маленькая лежанка, на которой стояла маленькая тарелка с узенькой корочкой от сыра. Это я успела заметить, пока Владимир Сергеевич спешно освобождал второй стул от книг, которые были на нем навалены, и предложил нам сесть. Сам тоже сел, спросил о цели нашего прихода, и я стала ему объяснять свое состояние, как на всех собраниях я всегда остаюсь в одиночестве, и из-за этого беспокоюсь и т. д. всё, всё. Он подумал и стал говорить. Это болезненное настроение, так не надо думать, нельзя думать о большинстве, что в нем и правда; наоборот, за правду стоят единичные личности, а за толпой идут малодушные.

«Вспомните, как в древности Сократ говорил истину, а кто за ним пошел, его заставили испить чашу яда. А самый главный наш пример – Господь Иисус Христос, все Его оставили, когда Он страдал за правду».

Что он еще говорил, не помню, только упомянул, что пишет «Три разговора» и сейчас должен приготовить речь к юбилею Лермонтова. Боясь ему помешать, мы спешно ушли.

Очень успокоил и удовлетворил меня ответ Владимира Сергеевича Соловьева. С тех пор к сходкам я относилась совершенно спокойно. Послушаю, что говорят, – внутренне воззову ко Господу и тогда спокойно отвечаю, что мне придет на мысль, хотя я и оставалась по-прежнему в одиночестве. Ждала, чтобы не пропустить юбилея Лермонтова и послушать Соловьева.

Настало торжество, это было в театре. Не помню, как и чем началось; выходит Соловьев (слышу ропот студентов: ну вот, сейчас начнет о Боге, и мы его ошикаем). Тишина, он начинает: «Много я думал о том, что бы мне сказать такое, что бы могло быть полезно душе Лермонтова. Гений ведь обязывает, а Лермонтов свои гениальные способности употребил во зло. Как в “Демоне”, он облек зло в красивую форму, так же как и чувственную любовь». Много и хорошо говорил он, все это с чисто христианской точки зрения были глубокие истины. Но так не похожи они были на все окружающее! Ведь на юбилеях принято хвалить, а здесь Соловьев думает о пользе души. Несмотря на это, мои соседи-студенты были ошеломлены и не посмели нарушить тишину. В Полном собрании сочинений Соловьева помещена и эта статья «О Лермонтове». (Читал он «Три разговора» и повесть об антихристе, но мне не пришлось тогда быть почему-то, о чем я очень жалела.)

В антракте я подошла к Соловьеву, и он спросил мой адрес, а я считала себя пред ним такой недостойной, что даже не решилась дать ему свой адрес. Я его видела в последний раз. Летом он заболел и 31 июля скончался сорока восьми лет от роду, причастившись Святых Таин и с молитвой на устах. (При вскрытии обнаружился склероз почек.) Последним, что он написал после «Повести об антихристе», было стихотворение, напечатанное в «Вестнике Европы» за 1900 год, где он обращался к императору Вильгельму, чтобы он защитил христианство. Последние слова этого стихотворения были: «Крест и меч одно и то же».

Какая скорбь для меня; мне казалось, что и солнце будто померкло...

Когда я проезжала через Москву, то с вокзала наняла извозчика на Новодевичье кладбище.

Новая могила Владимира Сергеевича Соловьева – рядом с могилой его отца: белый простой деревянный крест и на нем круглый образ из перламутра – Воскресения Христова Иерусалимский. (Грингмут Владимир Андреевич († 1908), редактор газеты «Московские ведомости», умер, по-видимому, так же, как и Владимир Сергеевич, от склероза почек, как обнаружено было при вскрытии. Император Александр III умер от этой же болезни.)

Революционные настроения и забастовка в Медицинском институте

Около этого времени я заболела ангиной с высокой температурой и не могла день или два приходить на лекции, тем более что квартира моя в то время была далеко от нашего института. Проболела я несколько дней. Прихожу, а мне и рассказывают, что хотели устроить забастовку, кого-то поддержать, а здесь вдруг нашлось десять человек, которые все-таки пришли на лекции и таким образом сорвали забастовку. Это так раздражило большинство, что они исключили этих десять студентов из товарищества, назвали прокаженными и объявили, чтобы никто с ними не имел никакого дела, даже не разговаривал, что они не должны пользоваться ни студенческой столовой (которая была для слушательниц Медицинского института), ни лекциями, которые литографируются и предоставляются для всех, и не будут пользоваться никаким материальным пособием в случае нужды.

Я увидела, что эти десять человек поневоле держатся особняком, никто не может к ним подойти. Настроение их ужасное! Удивляешься только, как могли им создать такое угнетенное положение. У меня на душе было спокойно, только жаль одного – что я не была в тот день в институте и не могла выразить свое настроение тоже тем, что пошла бы на лекции. Чтобы загладить свою вину, я чем могла выражала им свое расположение.

Но не долго мне пришлось быть в таком недоумении. В этот же день назначена была сходка, на ней были не только наши, но и студенты из всех высших учебных заведений. Взяли самую большую аудиторию. На стене около кафедры висела нагайка. Прежде всего высказались, что нашлось десять человек, которые помешали забастовке, – их теперь исключили из товарищества. Объявили их фамилии, назвали их прокаженными и с этим названием обещали список фамилий вывесить на видном месте во всех высших учебных заведениях. Говорено было много, много жестокого, указывали на нагайку, что вот такие хотят ее...

А у меня в душе все больше и больше разгоралось пламя негодования против такого отношения к человеческим убеждениям. До такой степени я была возмущена, что даже обычная застенчивость не могла меня удержать.

Спросили: неужели среди нас может найтись кто-нибудь, кто был бы против такого решения? И я, помолившись в душе, встала (а сидела я очень высоко, кажется на последней скамейке) и сказала: «Прошу исключить меня из товарищества и вписать в группу тех, кого вы называете прокаженными, потому что я думаю одинаково с ними». После этого наступило гробовое молчание, потом студенты за председательским столом обменялись между собой несколькими словами и наконец сказали вслух: «Кто там говорит, идите на кафедру». Шла я туда, как на виселицу. Не знаю, как я могла пройти это пространство, только чувствовала, что спина моя неподвижна, и если бы я захотела наклониться, то не смогла бы. Впоследствии, будучи врачом, от простых больных я слышала такое выражение: «И спина моя стала прутом». Вот что тогда было со мной, а те, кто смотрел на меня в то время, как я проходила через ряды, потом рассказали мне, что я сделалась бледная как полотно.

Вошла на кафедру и повторила то же самое, только еще добавила: «Я не хочу быть в таком товариществе, которое так жестоко поступает; я тоже не буду пользоваться столовой, не буду брать ваших лекций». – «А еще кто с вами?» – спросила председательница каким-то мягким тоном. «Я не знаю о других, я только прошу исключить меня». Сказав это, я пошла на свое место, а когда проходила по рядам, то видела многие взгляды, устремленные на меня с сочувствием и со слезами. Села на место, и ко мне обратились с ответом: «Мы вас не исключаем из товарищества, мы уважаем вашу прямоту, вы будете у нас посредницей между нами и так называемыми прокаженными, так как сами мы не будем общаться с ними».

Вечером пришли ко мне две наши слушательницы, очень растроганные, и со слезами говорили, что они вполне согласны со мной, но боязнь помешала им высказать свое мнение; а так как я не хочу пользоваться товарищеской столовой, то они будут готовить: вместо обычной платы 7 руб. 50 коп. в месяц у них обед будет стоить 6 рублей, и еще будут давать кусок чего-нибудь на ужин. А лекции мне были не нужны, так как я сама записывала, и от меня пользовались другие.

А на другой день пришла ко мне наша слушательница Воскобойникова, старинная знакомая профессора Манассеина, от него с предложением, не соглашусь ли я заниматься с его воспитанницей и принимать участие в его журнале «Врач». Я почувствовала, что это отголоски вчерашнего события: лицо Воскобойниковой я видела в слезах, когда возвращалась с кафедры, она и передала профессору обо всем. А ведь левые всегда старались вписать его в свой лагерь. Я была благодарна профессору за такое сочувствие и ответила, что в журнале согласна работать, так как это легко (отмечать все, что касается медицины, просматривая все газеты), а заниматься не в силах, так как это отвлечет меня от медицинских занятий.

В назначенный час я пришла: начала брать газеты и размечать статьи, а два раза в неделю приходила и приносила отмеченное. Профессор ничего не говорил о происшедшем событии, но как трогательно и ласково он ко мне относился: такой занятой, почтенный ученый провожал меня в переднюю и был там, пока я оденусь! Это даже смущало меня, и я роняла или газеты, или что из одежды. Но зато все это очень меня утешало.

Однако не долго я пользовалась этим счастьем: через месяц или два он заболел воспалением легких и скончался, проболев чуть больше недели. Великая потеря была, особенно для медицинского мира. Он ведь был таким авторитетом, как бы моральным судьей среди медицинских деятелей, к нему обращались за решением в различных недоумениях.

И вот почувствовалось, что нет такого авторитета, которому бы все верили, все слушались, и если в то время находились противники профессора Манассеина, то внешне они не решались высказываться. При моем коротком знакомстве с профессором Манассеином и то приходилось видеть примеры его гуманной, самоотверженной деятельности, которая навсегда запечатлелась у меня в душе.

Бывший заслуженный профессор Военно-медицинской академии, профессор Манассеин продолжал принимать больных после ухода в отставку. Прием был бесплатный, но больше двадцати пяти человек он не принимал в свой приемный день, так как считал, что больше этого хорошо принять нельзя.

Однажды на втором или на третьем курсе мне пришлось с одной из подруг пойти к нему на прием, так как я почувствовала слабость и сердцебиение. Мы встали очень рано и еще при свете луны пошли на Выборгскую сторону, где он жил при Медицинской академии. У входа, еще запертого, стоял юноша лет шестнадцати-семнадцати, совсем бедно одетый, вроде нищего; он сказал, что пришел записаться к профессору, потому что болен, и будет считаться первым, а мы, значит, второй и третий номер; постепенно стали приходиться еще люди, а мальчик все считал и назначал им номера. В девять часов дверь открылась, и швейцар впустил первые двадцать пять человек.

Начался прием. Видя тяжелых больных, мы уступали им, а сами всё оставались и оставались.

Для нас поучительно было видеть, как маститый старец провожал больного и при этом говорил еще, что находил нужным.

Например, провожая больного, видно тяжелого туберкулезного, он его утешал и, успокаивая, сказал, чтобы к нему непременно пришла жена больного. Во всем этом было столько любви к больным! И слышать это было так полезно нам, будущим врачам; самим нам пришлось зайти, когда уже стемнело и давно зажглись огни.

Как было не скорбеть и беднякам, для которых профессор был истинным благодетелем! Недаром у его гроба можно было заметить бедняков, которые его оплакивали. Но в личной, семейной жизни он не был счастлив. Его жена увлеклась другим профессором и променяла на него такого обаятельного, идеального человека. В его доме поселилась племянница писателя Достоевского и стала хозяйничать. А он взял еще какую-то девочку, удочерил и нанял для нее учительницу. Компания известного направления окружила его, старалась сблизиться, но он им не доверял: когда его спросили, кому он поручит свой журнал, он сказал, что не может поручить никому (так я слышала через близких знакомых).

Гроб несли на руках до Финляндского вокзала, а оттуда по железной дороге до ближайшего кладбища. Живущая у него племянница Достоевского была или маловерующая, или неверующая, она сочувствовала тому кружку, который так хотел быть близким профессору. Теперь, после его смерти, они провозгласили себя самыми близкими к нему людьми и на могиле устроили митинг с шумными речами и клятвами. Печально было смотреть на все это, а в вагоне на обратном пути слушать речи, не соответствующие истине.

В один из поминальных дней я поехала на кладбище с твердым намерением отслужить панихиду. На могиле уже были посетители, не по мне кто. Я зашла в дом священника и попросила его пойти со мной на могилу профессора Манассеина, чтобы отслужить панихиду. Пришли к ограде. Бывшие там запротестовали, но я, заранее подготовившись и предвидя это, твердо сказала, что они не имеют права запретить нам. Священник стал служить панихиду, и они ушли. Это было в 1901 году.

* * *

На четвертом или пятом курсе нам уже назначали больных, за которыми мы должны были следить; в этом случае нас называли кураторами. Между больным и куратором устанавливалось какое-то близкое отношение. Чем можно было, мы старались помочь им, принести книгу или лакомство какое. Больные часто были откуда-нибудь издалека, в Петербурге были совершенно одиноки, и как дорого было им такое участие с нашей стороны! Мы входили в их духовную жизнь.

Помню, мне был поручен один туберкулезный в последней стадии этой болезни; кроме легких, у него было поражено и горло; он ужасно страдал и целыми днями смотрел из-за ширмы, не пройду ли я по коридору. Он говорил, что ему страшно умирать, и просил меня, чтобы я постаралась быть при его смерти. Но у некоторых кураторов был горделивый вид, и больные стеснялись обращаться с такой просьбой и звали меня. А у меня с того времени возникло особенное отношение к смертному часу. Это не было что-то мрачное, напротив, чувствовалось, что совершается таинственное сближение земного с небесным, и потому такие просьбы побыть около умирающих меня не отягощали, а, наоборот, утешали.

По возвращении на квартиру я часто вспоминала какие-либо особые случаи с моими больными. Вот помню, одна мне сказала: «У вас все больные особенные, просто ангелы небесные». В отдельной маленькой палате лежала курсистка-еврейка, которую я должна была навещать. Когда я заболела и несколько дней не могла посещать и больных, то я просила подругу навещать моих больных; зашла и к той курсистке, и она, вспомнив обо мне, говорила, что я с особенной заботой и расположением отношусь к ней. Подруга ответила: «Нет, она одинакова со всеми».

И моя подруга Мария, и еще одна (дочь племянницы Достоевского, но не той, что жила у Манассеина), которая имела особенное расположение ко мне, иногда с упреком говорили больным: «Да не все ли вам равно – мы или кто другой?» По возможности я старалась одинаково относиться ко всем.

Наступил последний год нашей учебы. Теперь мы должны были получить самые главные сведения, которые нужны нам как будущим врачам. А тут вдруг опять затеяли забастовку.

Был убит министр народного просвещения Боголепов. На сходке спросили, кто найдется... (масса эпитетов, самых позорных) и пойдет на панихиду? Я встала, меня позвали к кафедре. Несколько человек с ожесточенными лицами окружили меня и зашумели: «Знаете ли вы, что у нас триста револьверов, которые направятся на вас!» В толпу протиснулась одна курсистка В., высокого роста, и сказала: «Не трогайте ее, не для раздражения вас она так поступает, она всегда была религиозная». И почему-то они оставили меня в покое.

Удивляло меня такое настроение, а главное, и то, что профессора в большинстве своем были как бы заодно с нашими «передовыми» курсистками. Мне захотелось в этом удостовериться, и вот однажды я зашла в кабинет к пожилому, популярному у студентов профессору хирургии Кадьяну и сказала, что мне с ним надо поговорить. Мы остались одни, и я сказала: «Мы на последнем курсе, скоро на нас ляжет страшная ответственность – люди будут вручать нам свою жизнь, а мы, вместо того чтобы приобретать больше знаний, занимаемся политической и устраиваем забастовки. Как вы, профессор, смотрите на это?» Бедный профессор так смутился, что он не мог сразу ничего выговорить. Пробормотал что-то неопределенное, начал оправдывать студентов неопытностью и молодостью, говорил, что «и мы когда-то...».

Вообще, тяжело мне было удостовериться, что от наших профессоров помощи мало. Только с тех пор я заметила, что он избегает меня, как бы боится встречи со мной один на один. Стали говорить, что на Волге ширится голод. Мы принимали это за истину. Открылись курсы эпидемических болезней – холеры, чумы. Я слушала их и думала, не надо ли и мне туда поехать?

Но, с другой стороны, ведь родители мои остались одни, брата с полком услали на остров Крит, в помощь грекам против турок. Написала я им письмо с вопросом: как мне поступить? Они ответили: если необходимо, то поезжай. В это время в Петербург приехала жена одного офицера, наша хорошая знакомая, и, когда услышала, что я не знаю, как поступить, она твердо и откровенно сказала, что мать была больна всю зиму и теперь слаба, так что ни в коем случае не советует мне ехать на эпидемии, а надо после экзаменов возвращаться домой. Я так и сделала.

* * *

У нас опять начались волнения. Женский медицинский институт сделался центром волнующейся молодежи. Сюда собирались из всех высших учебных заведений. Но теперь я уже спокойнее ко всему относилась, ничего ни от кого не ожидала и говорила только то, что мне подсказывала совесть. И вот в один из таких моментов была объявлена забастовка для поддержания всего студенчества; к этому были присоединены различные страшные угрозы, вплоть до расправы револьверами. Нас строго предупредили, что ни одна слушательница не может на следующий день быть в стенах института: не только в аудиториях, но и в лабораториях и клиниках.

С каким тяжелым чувством мы разошлись! Слышали только, что директор предупредил депутатов: если никто не придет и лекции не состоятся, он вынужден будет сообщить об этом министру, а последний уже говорил, что Женский медицинский институт открыт как бы на пробу и еще не утвержден до окончания первого выпуска; если же «они будут устраивать бунты, то сейчас же закроем его». Но эти слова директора несколько не подействовали на депутатов, они с прежней смелостью требовали проведения забастовки. Им не был дорог наш институт, у них были другие цели. И так мы разошлись.

Что это была за тревожная ночь! То, к чему мы стремились и чего достигли с таким трудом, мы должны были потерять по какому-то безрассудству и насилию. Сердце у меня загорелось негодованием от такой несправедливости. Помолившись Богу, я успокоилась на твердом

решении идти завтра, хотя бы и быть там одной (да я и не надеялась, что кто-нибудь после таких угроз рискнет пойти). Своих мыслей я никому не высказывала. Рано встала. Приготовившись, как на смерть, оделась, надела форму, приложила к образу Божией Матери, прощаясь со своей жизнью. Сказала старичкам-хозяевам: «Прощайте» – и подумала, что ведь они и не подозревают, что я расстаюсь с ними навсегда. На пути никого не встречаю. Вхожу в швейцарскую. Добродушный швейцар взволнованным голосом спрашивает: «Что же вы пришли, ведь вас застрелят, там за углом стоят с револьверами!» – «Это их дело, а я должна сегодня быть на лекции, иначе Медицинский институт закроют».

Профессора не пришли. У нас должна быть сейчас лекция профессора Соколова по детским болезням, иду искать – не пришел ли он в клинику. Действительно, он там. «Профессор, я пришла слушать лекцию». – «А кто-нибудь еще пришел?» – «Нет». – «Так как же?» Он, смущенный, испуганный, бледный, замялся. «Если у нас сегодня не будет лекции, то, как сказал министр, институт закроемся». Перепуганный профессор начинает отказываться.

«Профессор, я требую, чтобы вы читали, иначе телеграфирую министру, что профессора сами устраивают забастовки». Он махнул рукой и сказал: «Пойдемте. Только что мне читать, прошлую лекцию?» – «Что хотите, что удобнее вам, лишь бы лекция состоялась». Взял девочку, над которой будет читать. Вошли в аудиторию. Я села на первую скамейку посередине, а он, бледный, трепещущий, начал читать мне одной. Как мне было его жалко: он хороший, добродушный.

Прошел первый час лекции: пока, кроме нас, никого не было, и все обстояло благополучно. «Делать ли перерыв?» – спросил профессор. «Нет, будем здесь, куда же расходиться, перерыва не надо». И профессор стал читать второй час. Но что это было за чтение: ни он, ни я почти ничего не понимали, только бы провести время.

На втором часу почувствовали, что кто-то вошел, – пришли несколько человек с первого курса, более мягких убеждений. Профессор ободрился, стал читать более громким голосом, и мне стало легче на сердце. Второй час закончился, и профессор, закончив лекцию, пожал мне руку и сказал: «Благодарю вас, что вы настояли прочесть лекцию в аудитории».

Мы дружелюбно попрощались. Я поблагодарила первокурсниц, которые пришли поддержать меня. Под конец лекции подошли две или три девушки с нашего курса. Пошла искать преподавателя, у которого были следующие часы с нами, – профессора Волкова, по внутренним болезням. Он держал себя гордо. И теперь, когда я подошла к нему (он был в своей клинике) и сказала ему, что прошу его читать лекцию в аудитории, он ответил: «Я имею право и здесь читать» – и начал лекцию над больной, которая лежала в постели.

Теперь я была не единственной слушательницей, подошли, кроме тех двух или трех, еще несколько человек, и мы могли спокойно прослушать лекцию. Занятия состоялись, не было причин к закрытию, а в дальнейшем все пошло обычным порядком. Никто о забастовке не упоминал, как будто ничего и не было.

Начались экзамены. Время экзаменов я всегда любила, еще когда была девочкой. И здесь мне не очень трудно было учиться, тем более что я не пропускала ни одной лекции и вела записи. Учиться для меня было большим удовольствием, тем более что стремление стать хорошим врачом придавало силы. Экзамены проходили в виде беседы с профессором, так что они даже были интересны. Особенно мне нравилось беседовать с профессором Феноменовым. Он умел предлагать вопросы так, что на них было легко отвечать. Про него я часто думала: какой это замечательный человек, ему бы не профессором быть, а епископом. Книга его «Хирургическое акушерство» написана удивительно талантливо и увлекательно, эпиграф к ней взят из книги Бытия. Я не знаю лучшего учебника по медицине, несмотря на то что она посвящена такому предмету. Я готова была не один раз сходить к нему на экзамен и удивлялась, что другие шли с таким страхом и неудовольствием.

Интересно было и у профессора Бехтерева, но здесь я была смущена: профессор предложил мне остаться в его клинике ассистентом. Надо было бы принять это за честь для себя, а я как будто испугалась: «Нет, не могу, я всегда стремилась в земство и готовилась для этого».

Поездка к родителям. Исцеление мамы от чудотворного образа Божией Матери Касперовской

Все экзамены прошли хорошо. Но ведь чтобы получить врачебный диплом, надо еще осенью выдержать государственный экзамен.

Во время моей учебы в Медицинском институте в Петербург приехала моя подруга по Московскому Александровскому институту Наташа Лепер (Юрьева). Мы сидели с ней за одной партой; она была первая ученица, а я вторая.

Кровати наши в дортуаре стояли рядом, так что мы были дружны. Она особенно хорошо ко мне относилась. Узнала, что я в Медицинском институте, и приехала. Теперь она была уже замужем за доктором Лепером, военным врачом; в семье его царила особенная дружба (брат семейный и две сестры-девушки). Сестры его беззаветно любили, да и он был замечательно хорошим человеком.

Он приехал работать над диссертацией в Медицинский экспериментальный институт к профессору Павлову. Вместе с ним, также для работы, приехал земский врач Пономарев. Они с Наташей бывали у меня, и я у них. Врачи пригласили меня поработать в экспериментальном институте: я заинтересовалась и в свободные часы отправлялась туда с ними. Они занимались различными исследованиями над собаками. Собаки были с фистулами, и надо было следить за желудочным соком, который изменялся в зависимости от различных условий.

Чувствовала я, что Наташа, которая сама вышла за врача, и мне желает того же. Но ведь я дала слово всецело посвятить себя медицине, как же я буду сворачивать с дороги? Они уговаривали меня, чтобы после весенних экзаменов до осенних государственных не уезжать на лето домой, а ехать в земство помогать доктору Пономареву. [Вспомнив об адресе, который мне дал оптинский старец отец Венедикт, я написала ему короткое письмо: «Ехать ли мне помогать врачу или отдыхать?» Он ответил: «Только не выходи замуж». Но так как их предложение имело именно эту цель, то я, конечно, не поехала,]¹ а отправилась домой, где я была так нужна. Мы разъехались по домам. Я спешила в Одессу, где меня ждали мои слабые родители. Брат с полком еще оставался на острове Крит. Отец с денщиком поехал в имение в Смоленской губернии, а мы с матерью еще несколько дней оставались в Одессе.

Мамочку я застала слабой, больной: она не вполне еще оправилась после болезни. Зимой они провели плохо. Случилось так, что пришла одна нищая женщина, ведя за руку детей. Женщина рассказала о своем плачевном положении, что ей приходится скитаться по сараям, а теперь настали необычные для этой местности холода, и вот она стала просить оставить ее в передней. Мамочка сказала ей, что передняя без печки, но это, конечно, не остановило бедную женщину (ей приходилось жить в гораздо худших условиях, она говорила, что они все равно не раздеваются). И наконец уговорила мою мамочку: они остались в передней. В сильные холода невозможно было равнодушно смотреть, как они замерзают, тем более что дети были больны. Так что мама моя вынуждена была держать свою дверь открытой, потому и у них в комнате было холодно.

В таких условиях им пришлось прожить всю зиму. А главное, помимо всего этого (только теперь, при нашем свидании, мама рассказала мне), она заболела: у нее сделался нарыв в животе, опухоль видна была даже снаружи, был сильный жар, она лежала в постели, и пришлось позвать доктора, который сказал, что здесь необходима операция, и назначил день, когда он придет с инструментами.

¹ Текст, выделенный редакцией в квадратных скобках, хронологически выпадает из общей последовательности повествования.

Наступил назначенный день. Несмотря на страшную слабость, мамочка собрала все свои силы, кое-как сползла с постели к комоду, чтобы вынуть чистое белье, и легла в постель. Посмотрела в окно и заметила, что там толпится народ. Спросила, что это значит. Ей ответили, что через их двор проносят чудотворную икону Божией Матери Касперовскую.

Мамочка попросила, чтобы занесли к ней. С умилением и слезами молилась она и просила помощи в предстоящей операции. Повернулась, и гной в громадном количестве хлынул из прорвавшегося нарыва. В это время приехал врач с инструментами и сказал, что здесь уже все сделано, и только перевязал рану. И теперь я встретила свою мать больной до крайности. Но мне об этих обстоятельствах она не писала, я все узнала только при свидании.

Побыв несколько дней дома и собравшись в дорогу, мы с ней решили ехать на дачу, куда раньше уже поехал отец.

В день отъезда пошли к обедне в собор. Выйдя из собора, я заметила в ограде киоск, в котором продавались книги, а по колонкам были развешены портреты царской семьи и образки. Я стала их рассматривать, думая что-нибудь купить для деревни, и как-то невольно обратила внимание на продавца: поля своей черной шляпы он вывернул и опустил вниз, мне это почему-то бросилось в глаза.

Потом мы отправились на вокзал к поезду. Я встала в очередь перед билетной кассой. За мной стал какой-то человек и сказал: «Я буду за вами, а пока отлучусь». Вскоре он пришел и о чем-то заговорил: это был продавец из киоска. Взяла билеты, сели в вагон. Жара невыносимая, да и хлопот было много, и я пошла проветриться на площадку. Вижу, что около меня очутился тот продавец из киоска, которого я видела утром, только шляпу он оправил, подвернул поля как должно, и вид у него стал другой, не такой простоватый. И сразу, как знакомый, он начал со мной разговор. Увидев, что я учащаяся (я всегда носила простой костюм и сейчас была в темно-синей косоворотке; чаще всего мы всё шили с матерью сами, мне доставляло удовольствие с нею посидеть и поработать), он стал уговаривать меня ехать с ним на Волгу, где, как считалось, были эпидемия и голод.

Он вез с собой ящик с революционной литературой. «Туда много наших учащихся поехало, поедете со мной и вы». – «Как же в киоске вы развесили иконы и портреты царской фамилии, а говорите о революционной литературе?» – «Это только для вида, а на самом деле мы везем революционную литературу. И столовые устроили только для того, чтобы удобнее было агитировать». Я объяснила ему, что придерживаюсь совсем другого направления, но он все надеялся обратить меня на свой путь.

Доехали до Киева, прощаемся с ним, а он не хочет нас оставлять. Стал спрашивать, куда мы. И когда я ответила, что в Лавру, то сказал, что и он хочет туда. Взял наш чемодан и сопроводил до Лавры.

В номере нам подали постное, и он ел с нами. Потом мамочка отдыхала. Когда мы пошли в церковь, он никак не мог остановиться и все добивался моего согласия. Наконец, я ему твердо, даже резко сказала: «Скорее вы перейдете на нашу сторону, чем я на вашу», и ему пришлось попроситься; но до самого последнего момента повторял, что если надумаю, то чтобы написала. В Лавре мы поговели, побывали в пещерах у святых мощей и поехали к себе в деревню. Сразу же начали хлопотать о постройке нового дома. Старый уже сгнил, крыша текла, под полом образовались муравейники.

Помню, приехал в соседнее имение к тете двоюродный брат, с которым мы никогда не виделись. Мы с ним поговорили на званом вечере, а на другой день он приехал к нам и говорит: «Теперь я вижу, почему у Саши такое настроение, – здесь у вас земной рай, красота какая!»

У отца сделался легкий удар. Хотя он и ходил, но стал плохо слышать и вообще очень осла бел. Мама после болезни тоже была слаба, и мне пришлось взяться за починку дома самой. Но Господь помогал, так что все хорошо проходило. Плотники оказались очень хорошие люди. И я только просила их, чтобы они делали по совести, так как мы в их работе не понимаем,

а отец слабый. Я сама и план составляла, и лазила по лесам. В праздничные дни я давала им книги или сама читала. Угощение было без водки. Они как будто и сожалели, но смирились. Все они были верующие, особенно главные. Кончили, и мы с ними по-дружески расстались. Нашли хорошего печника, а приборы я должна была прислать из Москвы, когда поеду на государственные экзамены в сентябре.

Первая поездка в Козельск и Оптину пустынь

Настал сентябрь. Прощаясь с родителями, я просила их как можно чаще мне писать, так как я, оставляя их такими слабыми, буду беспокоиться и это может отразиться на экзаменах. Брат просил меня заехать в Козельск и Оптину пустынь. Приехала в Сухиничи, оставила на хранение вещи на вокзале, сняла шляпу, надела косынку и села в поезд, идущий в Козельск. Езды там, кажется, часа два.

Вышла с вокзала на крыльцо, хочу нанять извозчика, а ко мне подходит молодая монахиня и предлагает поехать вместе. За пятьдесят копеек наняли извозчика до Оптиной пустыни. Мимоходом спутница сказала мне: «Вы, верно, из монастырского приюта?» Я промолчала; на вид я была моложавая и одета просто: серенькое рабочее платье, черный передник и белая косынка. Я была рада, что нашлась такая спутница, которая не раз уже бывала в Оптиной пустыни: у нее там духовный отец, скитоначальник отец Венедикт, а сама она из Полоцкого монастыря. Все это она рассказала мне дорогой.

Остановились мы в номерах, которые предназначались для размещения приезжающих монастырских сестер. Оправившись после дороги, мы сейчас же пошли в скит к старцу, скитоначальнику отцу Венедикту. Пришлось с четверть версты идти по тропинке в душистом сосновом лесу. Громадные деревья издавали смолистый запах, чувствовался аромат и приятная влажность. Святая теплота и мир охватывали душу.

Дышалось как-то легко, что-то неземное повеяло в душу. Идя по песчаной тропинке, огражденной могучими соснами, мы видели вверху только небо да зелень от кустарников кругом, так как тропинка была извилистая и впереди ничего не было видно. Но вот внезапно мы очутились в нескольких шагах от скита.

Пред нами предстали святые ворота, окрашенные в розовый цвет. Все так гармонировало с общим видом, святыми надписями и изображениями святых угодников Божиих. А по обеим сторонам от ворот были хибарки – такие же смиренные, как и их обитатели.

Я еще не испытывала в своей жизни ничего подобного тем чувствам, которые охватили меня теперь. Я как бы была унесена далеко-далеко от земли, в преддверия небесных обителей. Следом за своей спутницей вошла в хибарку с левой стороны от ворот, где помещался в то время начальник скита архимандрит старец Венедикт.

Все эти маленькие келейки, украшенные сплошь образами и по краям картинами духовного содержания, – такой мир проливали они в душу посетителей! В узеньком коридоре на скамьях и на полу сидели сплошь посетительницы. А для мужчин разрешался вход внутрь скита, и они должны были входить внутренним входом в особое помещение, рядом с кельями старца.

Смотря на окружающую святыню, на умиленные лица сидящих, невольно переносишься в другой мир, а все земное кажется таким ничтожным, чуждым для тебя. После монахини, моей спутницы, старец принял меня.

Сначала он обращался ко мне, как к молоденькой приютянке (так про меня ему рассказала монахиня), но когда из моих ответов узнал, что мне уже тридцать два года и что я еду держать государственный экзамен на врача, то был очень удивлен и щедро стал осыпать меня и наставлениями, и подарками на память. Благословил меня поговеть и велел приходить на исповедь до всенощной.

Оттуда мы зашли и в правую хибарку, где принимал посетителей приснопамятный старец отец Иосиф. При входе к нему чувствовалось, что это уже неземной человек, что он более принадлежит к миру духовному. Прозрачный лик его и вся его телесная оболочка так истончились от духовных подвигов, что кажутся уже исчезающими от наших грешных земных очей. Он говорит совсем мало, но своим просветленным сияющим взором вливает в душу что-то неземное.

Оба старца сказали мне (не помню, в каких выражениях), что мне надо идти в монастырь, – и это вполне совпадало с моим, хотя как будто не вполне сознаваемым прежде, всегдашним желанием. Вскоре по возвращении нашем в номер отец Венедикт прислал келейника позвать нас и объяснил, что ему необходимо ехать в Шамордино: за ним прислали, у него там много духовных детей (кто-то сильно заболел).

Так как мне нельзя было отложить отъезд, то батюшка Венедикт благословил меня исповедаться у общего монастырского духовника отца Феодосия (впоследствии он стал скитоначальником), надавал мне на память об Оптиной образков (живописный образ Калужской Божией Матери в четверть аршина) и много книжек (в их числе житие старца Амвросия), много листков и свой адрес. Уезжая, старец сказал келейнику: если он не возвратится, пусть келейник угостит нас после причастия чаем, накормит меня и даст мне скитских цветов.

Поисповедовалась, где сказал мне отец Венедикт, простояла всю ночь, а затем на обедне Господь сподобил меня причаститься Святых Таин. Попила чаю у келейника, как велел батюшка отец Венедикт. Келейник заботливо покормил меня, дал мне большой букет цветов и еще на дорогу кусок пирога. Заходила я еще раз к отцу Иосифу, здесь провожал меня к старцу его келейник, будущий старец и будущий мой духовный отец, батюшка Анатолий. Во всем его облике светилась бесконечная любовь к людям. С таким старанием он всех провожал к старцу, докладывал о нуждах каждого. Здесь впервые я узнала его и потом в следующий раз, когда приехала сюда уже через несколько лет, искала именно его (и для этого поехала в Шамордино, когда он был уже иеромонахом и главным духовником Шамординских сестер).

Не помню, что он мне дал и что сказал, но, видно, так глубоко запало в душу воспоминание о любвеобильном старце, что впоследствии, через несколько лет, я искала именно его. К вечеру 8 сентября я должна была уезжать. Радостная, что побывала в таком святом месте, напутствуемая святыми благословениями, я уже одна поехала к вечернему поезду.

Проезжая через Москву, я купила все печные приборы и отправила их для нашего выстроенного дома.

В Петербурге забота о квартире, сутолока столичной жизни и усиленные научные занятия полностью меня поглотили. Некогда было и подумать о том светлом мире, который я совсем недавно оставила. Жизнь потекла совсем другая. Но наряду со всем этим забота о моих слабых родителях, несмотря на все учебные заботы, терзала мое сердце. Через несколько дней я уже стала ждать письма. Прошло много дней, а письма все не было. Наконец прошел целый месяц.

Скорблю, часто плачу, сил не хватает учиться, так как ум и сердце заняты другим. Временами даже думала бросить учебу. Отправляю телеграмму, жду ответа, терзаюсь. Посылаю другую телеграмму, с оплаченным ответом, на имя тети, жившей в городе, а ответа все нет. Хожу на почту и, получив отрицательный ответ, едва держусь на ногах... В мыслях у меня только одно: или оба тяжело заболели, или даже умерли. Тоска на сердце невыносимая, а здесь еще залезла в корзинку мышь и прогрызла мой шерстяной платок. Это на меня особенно тяжело подействовало. Я была в отчаянии, беспокоясь за жизнь своих родителей. В таком настроении легла спать, было уже 9 октября...

Просьпаюсь утром – мне не так легко и радостно на душе. Я видела сон: из белой могильной часовенки выходит батюшка отец Амвросий, лицо его радостное, светлое. Под правую руку поддерживаю его я, а под левую моя мамочка; батюшка своим взглядом указывает, куда и нам надо смотреть. И вижу я там, в нескольких саженях от старческой часовенки, через дорожку, невысокий холм и на нем беседка, вся из красных роз. Вся она сияет, от нее исходит свет. А против входа в часовню, где мы с батюшкой стоим, в нескольких шагах стоит столик церковный, и на нем лежат всевозможные спелые фрукты. Особенно мне запомнились чрезвычайно крупные сливы, сизые, матовые. А около столика лицом к нам стоит папочка мой, руки его видны над этими фруктами; он в парадной одежде своего Кавказского Мингрельского полка, с серебряными нашивками на рукавах и воротнике.

И больше я ничего не видела. Проснулась я с необыкновенно успокоенным духом, утешенная. И так ясно все это видела, что после мне всегда казалось, что я видела батюшку наяву. Только, подумала я, почему-то вся наша семья здесь, а брата не было. Под впечатлением этого сна я открыла корзинку, вынула книжку: «Детская вера и старец Амвросий», стала читать и узнала, что сегодня 10 октября – это день кончины батюшки Амвросия! И скоро почтальон принес мне несколько писем, задержавшихся по недоразумению. Радости моей не было конца!

Вот как утешил меня батюшка. Часто, часто приходил мне на ум этот сон, и видела я батюшку как живого, а весь сон с лучезарной беседкой представлялся мне таким светлым. И часто думала я об этой беседке, что бы она означала? Я предполагала, что беседка – это Шамординский монастырь, в который я когда-нибудь поступлю...

Но прошло пятнадцать лет, и только тогда я поняла, что означал этот сон...

Государственные экзамены. Окончание Медицинского института

Успокоенная, с обновленными силами я стала готовиться к экзаменам. Экзаменов было очень много; перед каждым давалось два-три дня на подготовку. Председателем комиссии был хирург Вельяминов. Экзамены прошли у меня очень хорошо, мне дали диплом с отличием.

День нашего выпуска был назначен в ноябре. Так как наш выпуск был первый, то им очень интересовались, присутствовало много лиц из ученого и высшего круга, были жены министров. Рядом с залом, где были расставлены стулья для гостей, в маленькой аудитории, священник, наш профессор по богословию, начал служить молебен. Не помню, как мы с подружкой Марией об этом узнали, эта дверь почему-то была прикрыта (об этом позаботились). И вот за молебном нас было всего человек пять. Видно, тяжело было священнику, так как он, давая нам святой крест, сказал: «И только вас?» О молебне не объявили, а все было сделано как бы секретно. Как было обидно, обидно за все это.

Когда уселись мы с подружкой в зале недалеко от передних мест, к нам подошли две курсистки из числа депутаток с букетами цветов и обратились к моей подружке: «Преподнесите этот букет баронессе Варваре Ивановне Иксуль фон Гильденбанд». Она была у них попечительницей интерната. Меня это страшно возмутило: «За что именно ей, ведь у нас есть и директор и инспектриса, которые больше потрудились для нашего института. А она что сделала?» (Только в чердачном помещении интерната она устроила якобы комнаты для случайных больных, но мы этих комнат никогда не видели, а слышали, что туда баронесса собирает своих приближенных депутаток из тех, которых назначили во время городских забастовок в ссылку, и там устраивали тайные прощальные обеды.) Меня так возмутило обращение этих курсисток к нам, что я встала и громко стала говорить, что не допущу, чтобы ей подносили букет; если поднесете, то я пойду на кафедру и выскажу все. Я говорила так громко, что передние ряды обернулись, а принесшие букет так испугались, что моментально скрылись с букетом и больше уже не показывали букета и не упоминали ни одним словом.

На этот прощальный вечер каждая из нас пригласила своих знакомых. Один мой знакомый доктор сказал мне, между прочим: «Вот другие веселы, а вы чем-то опечалены...» Не знаю, что я ему ответила, но только помню, что в это время подумала: «Ведь теперь на нас как бы свалилась гора великой ответственности... ведь нам теперь вручается жизнь человека; как можно не задуматься над этим?»

Сразу я не поехала домой, ведь мне хотелось работать земским врачом, значит, надо было подготовиться, особенно по акушерству и гинекологии. И я осталась на некоторое время в акушерском институте профессора Феноменова, дежурила там и присутствовала на операциях; чтобы жить поближе к институту, взяла комнату в находившемся неподалеку общежитии инженеров путей сообщения.

После акушерства я стала ходить в Обуховскую больницу, в гинекологическое отделение (как раз представился случай). Там ассистентка профессора предложила мне жить у нее: «Вы все равно у нас целые дни, не стоит вам уходить, вы и дежурить будете ночью, это вам сослужит большую пользу. Оставайтесь у меня в комнате, она у меня большая». Вот я и осталась у нее.

Давали мне делать и легкие операции: зашивания, выскабливания. Я им очень благодарна, мне это очень пригодились. В феврале я не могла больше терпеть: хотелось повидаться с родными. Врачи оставляли меня и в будущем работать у них, но я не могла еще ничего решить и так поехала домой к родным. Встретила я их сравнительно здоровыми. Для всех нас была великая радость, но пришлось все-таки объяснить, к какому великому делу я готовлюсь. А где это лучше сделать, как не в Петербурге, где ко мне так хорошо относятся и профессор, и ассистент: стараются всё объяснить, предлагают мне делать при них легкие операции.

Родители мои, так меня любящие, несмотря на внутреннюю скорбь, согласились с тем, что я побуду с ними только короткое время, а потом вернусь в Петербург для практики. Но вот приехал к нам наш родственник, секретарь земской управы города Ельни. Свой приезд он объяснил тем, что послан председателем управы уговаривать меня остаться и поступить в их земство врачом. У них особенно страдал один участок (находившийся далеко от города и довольно протяженный), а люди там так нуждаются в медицинской помощи. Он долго меня уговаривал, изображая вопиющую народную нужду, и так нас растрогал, что мы решили: мне нужно остаться и работать в этом участке. Надо было собираться ехать на самостоятельное место.

Призвание врача (1902–1910)



Работа земским врачом в уезде города Ельни

Поехала в Смоленск, чтобы купить себе часы (у меня были, но без секундной стрелки); при этом мамочка предупредила меня: «Ты, Сашенька, купи себе часы открытые, с белым циферблатом». Как я потом благодарилась ей за совет, ведь мне часто приходилось осматривать больных где-нибудь в темном углу или на печке, где света почти не было.

Мне выдали жалованье, из которого я хотела прежде всего купить что-нибудь в утешение родным. Тогда только что появились граммофоны. И я купила лучший граммофон и пластинки для него подобрала – все больше песнопения церковных служб.

Потом надо было и для себя купить маленький самоварчик и кое-какую посуду.

Родные заговорили о том, как я там буду одна, не поехать ли всем? Но на дворе была масленица, скоро разлив, а дорога туда такая дальняя, верст семьдесят. А главное, я боялась за свое душевное состояние: ведь я всецело должна отдаться больным, а здесь у меня будут заботы, беспокойство о родных. И еще главное: ведь они будут страдать, видя такую работу, а я не буду делать себе поблажек.

Все это заставило меня отклонить их желание. И я поехала одна. Наняли самого надежного в деревне человека, и мы отправились.

Что я перечувствовала за это время!.. Ведь я ехала в незнакомое, дальнее место совершенно одна. Меня пугала мысль: как я справлюсь, ведь я неопытна, а обратиться не к кому... Буду относиться к каждому как к своему самому близкому родственнику!

Что-то великое, святое ожидает меня!..

Приехали в село: амбулатория рядом с питейной монополией. Мне еще в городе сказали, что управа наняла дом для амбулатории, а для меня квартиру; если не понравится, то найдут другую. Дом этот в стороне от дороги, для меня лично – огромное помещение, высокое, светлое, одна очень большая хата, в сенях кухня, а через сени еще хата поменьше, с перегородкой, где помещается амбулатория с аптекой. Я согласилась взять этот дом, и сразу же фельдшер все туда перенес.

Так как из управы дали знать о моем приезде, то сейчас же мне предложили и прислугу, пожилую женщину из соседней деревни: она служила у предыдущих врачей. Но хозяйственные дела, лично мои, мало меня интересовали. Хвалили ее, что она замечательная повариха, но мне до этого не было никакого дела: я была полностью поглощена больничными делами – до такой степени, что мне почти не хотелось есть, и шла я на обед, только чтобы успокоить свою повариху и скорее покончить с этим делом, а на вопрос, что готовить, я отвечала большей частью: тушеную картошку (на что, видно, она обижалась).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.